

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Дмитрий Григорович
Пахарь

«Public Domain»

Григорович Д. В.

Пахарь / Д. В. Григорович — «Public Domain»,

Содержание

I. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ	5
II	6
III	7
IV	8
V	9
VI	10
VII	11
VIII	12
IX	13
X	14
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Дмитрий Васильевич Григорович

Пахарь

I. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

...Звонили к вечерне. Торжественный гул нескольких сотен колоколов усиливался постепенно и разливался мягкими волнами над Москвою. При ярком блеске весеннего солнца, начинавшего клониться к западу, Москва казалась волшебным, золотым городом. В эти часы весенних ясных вечеров Москва ни с чем сравниться не может! Но все-таки не нахожу слов, чтобы передать радостное чувство, которое овладело мною при расставании с городом. Я как будто воскрес душою, когда миновал Замоскворечье, проехал последнюю улицу, обставленную трактирами, запруженную народом, подводами, сайками, калачами, баранками, и очутился наконец за заставой.

Шум и возня, превращающие близость застав в многолюдный базар, делают еще заметнее резкий переход из города на поле. С каким наслаждением откидываешь верх тарантаса! А между тем впечатление еще не полно: долго попадаются возы с телятами, овощами и припасами всякого рода, встречаются толпы каменщиков, плотников и других рабочих. Все это невольно приводит на память городскую возню и суматоху, которую только что покинул и которая так давно наскучила. Время от времени приходится проезжать длинные села с каменным барским домом, как бы перенесенным сюда прямо с Тверского бульвара. На улице народ в картузах и синих мещанских кафтанах; бабы в штофных коротайках; парни похожи на фабричных щеголей; девки с бойкими глазами и пухлыми, белыми руками, никогда не бравшими серпа. Все почти подворотни превращены в лавочки: везде весы, баранки, деготь и ободья; в окнах неуклюжие самовары. Верст за десять и даже более от заставы встречаются щегольские, расписанные цветами тележки, в которых величественно восседает толстая мещанка с золотисто-фиолетовым платком на голове; рядом помещается такой же толстый сожитель, мещанин, – купец, поставляющий крупу или муку в один из столичных лабазов... И долго, еще долго будут попадаться давно наскучившие и как бы скроенные на один лад физиономии; долго станет преследовать звяканье медных пятак, смешанное с тем несносным, одуряющим голову дребезжаньем, которое преследует вас в городе и днем, и ночью. Приморские жители уверяют, что звук, который слышится в больших раковинах, происходит от того будто бы, что в их пустоте навсегда остается шум моря: «море нашумело», говорят они. Надо полагать, человеческое ухо, как эти раковины, если не всегда, то надолго способно сохранять шум города. Город давно уже успел исчезнуть; исчезли постепенно и самые признаки городской суетливости; даже колокольный звон, долго покрывавший все остальные звуки, тонул и терялся в пространстве. Но все еще в ушах раздавались шум и трескотня улиц, грохот экипажей, хлопотливый говор, знакомые голоса и восклицания... Я страшно тяготился городом!...

Разлука с ним чувствительна для тех, кто оставляет за собою особенно близких людей или особенно дорогие воспоминания; но когда нет ни тех ни других, когда покидаешь одну суетную, мелкую жизнь, оставляющую после себя чувство умственной и душевной усталости и непременно чувство какого-то неудовольствия и даже раскаяния, – разлука с городом делается сладостною выше всякого описания. Понятно тогда, почему так заботливо стараешься забыть все прошлое; понятно, почему сердце так только вот и рвется вперед и вперед к этому бескрайнему горизонту, полному такой невозмутимой, такой торжественной тишины...

С каждым шагом вперед, кругом делалось тише и тише, воздух свежее и свежее. Я нетерпеливо ждал минуты, когда прощусь с большой дорогой. К счастью, недолго было дожидаться: на пятнадцатой версте я повернул на проселок.

II

И вот я снова в полях, снова на просторе, снова дышу воздухом, пахнущим землею и зеленью!

Чудный был вечер! Солнце было еще высоко над горизонтом: оставалось час или полтора до заката. Прозрачное, безоблачное небо дышало свежестью; оно сообщало, казалось, свежесть самой земле, где на всем виднелись признаки юности. Апрель приближался к концу. Весна была ранняя, дружная; снег давно сбежал с полей. Повсюду, направо и налево от дороги, вдали и вблизи, по всем буграм и скатам, зеленели озими, освещенные косвенными золотыми лучами; тонкие полосы межей были еще темны; над ними вместо тучных кустов кашки, донника, ежевики и шиповника лоснились покуда пунцовые прутья и подымались ноздреватые, пересохнувшие стебли прошлого года; где-где разве развевался и сквозил мягкий, как бархат, лист земляники. Но как уже хорошо было в поле! Тишина необыкновенная. Так тихо, что ни одна былинка не покачет головкой; а чувствуешь, между тем, – слышишь даже, что весь этот неоглядный простор земли и воздуха наполнен жизнью и движением. Напрягаешь слух, жадно прислушиваешься... И – странно! – звуки эти радостно даже как-то отдаются в душе и тешат ее... Совсем не то, что в городе... В блестящей глубине небесного свода не видать жаворонка; но воздух наполнен его переливами. В каждой борозде, в чаще мелкой травы, в озимях слышатся писк, шорох. Далеко в рощах воркует горlinkа и перелетают с места на место дикие голуби. Все оживает: в самой тонкой ветке, в самых нежных стебельках движется свежий сок, хлынувший из корня, которому так тепло теперь под землею, нагретою солнцем. Мириады насекомых роями жужжат в воздухе, снуют и качаются на гибких травках молодой зелени. Солнце везде и всюду: солнце насквозь пронизывает густые чащи, не успевшие еще заслониться листом; солнце донимает в глубине лесов и оврагов остатки рыхлого, почерневшего снега; солнце жаркими лучами обливает поля, где сквозь редкую еще зелень блистают новые отпрыски озимого хлеба и желтеет прошлогоднее, дотлевающее жнивье. С каким наслаждением выставляешь на внешнее солнце спину и обнаженную руку! В воздухе уже не чувствуешь той проникающей сырости, которая заметна в первую весеннюю пору, когда реки в разливе; реки вступили в берега свои. Вода сквозила и отражала чистую синеву неба: леса – особенно, если смотреть на них сбоку – видимо, почти опушались. Еще два-три такие дня, и птицы, которые поминутно встречаются с соломинкой или перышком в носу, начнут вить свои гнезда в защите под куполами и сводами молодых листьев.

Местами проселок был влажен; но нигде не было следа грязи: колеса катились как по бархату, оставляя по чернозему следы, как бы покрытые лаком.

Славное было время для путешествия!

III

Мне следовало проехать около двухсот верст по этому проселку. Недалеко, кажется, но, в сущности, это целое странствование: предстояло переехать Оку, на которой, судя по времени, не успели еще навести моста; было на пути еще несколько маленьких речек, которые переезжаются обыкновенно вброд, потому что мосты на них обманчивее всего брода. Но я не скучал этим.

Надо вам сказать: я с детства чувствую особенное влечение к нашим русским проселкам. Если судьба приведет вас когда-нибудь случай ехать по России, если при этом вам спешить некуда, вы не слишком взыскательны в отношении к материальным условиям жизни, а главное, если вам страшно наскучит город, советую чаще сворачивать с больших дорог: большие дороги ведь почти те же города! Это бесконечно длинные, пыльные и пустынные улицы, которыми города соединяются между собою; местами та же суета, но уже всегда и везде убийственная скука и однообразие. От Петербурга до Харькова, от Москвы до Перми – те же станционные дома, те же вытянутые в ряд села и деревни, предлагающие овес, деготь, кузнеца и самовар; вам мечутся в глаза те же полосатые версты, те же чахлые, покрытые едкой пылью ветелки, те же ямщики. Вся разница в том, что один ямщик говорит на «о» и носит шапку на манер гречишника, а сто верст далее делают ударение на «щ», и шапка его несколько приплюснута. «От Муромы до Нижнего столько-то, и столько-то от Орла до Тамбова!» – вот все, что узнаете вы на больших дорогах.

То ли дело проселки! Вы скажете: поэзия! Что ж такое, если и так? И наконец, если хотите знать, поэзия целой страны на этих проселках! Поэзия в этом случае получает высокое значение. Правда, вам не предложат здесь баранков, вы часто исходите целую деревню и не найдете самовара; не увидите вы здесь ни пестрых столбов, ни ветел, ни станций; не вытягиваются проселки по шнуру; не трудился над ними инженер – все это совершенная правда: их попросту протоптал мужичок своими лаптишками; но что ж до этого! Посмотрите-ка, посмотрите, какую частою, мелкою сетью обхватили они из конца в конец всю русскую землю: где конец им и где начало?... Они врезались в самое сердце русской земли, и станьте только на них, станьте – они приведут вас в самые затаенные, самые сокровенные закоулки этого далеко еще не изведенного сердца.

На этих проселках и жизнь проще и душа спокойнее в своем задумчивом усыплении. Тут узнаете вы жизнь народа; тут только увидите настоящее русское поле, в тем необъятно-манящем просторе, о котором так много уже слышали и так много, быть может, мечтали. Тут услышите вы впервые народную речь и настоящую русскую песню, и, головой вам ручаюсь, сладко забьется ваше сердце, если только вы любите эту песню, этот народ и эту землю!...

IV

Посмотрите теперь, какое здесь разнообразие. Проселок, цепляясь с другими, бежит вперед и вперед, открывая поминутно новые виды: где деревушку, которая боязливо лепится по кособоку, где пруд с головастыми ветлами, осокой и дощатым плотом, на нем толпа баб с вальками и коромыслами, пруд, отражающий клочок неба и кровлю перекосившейся избышки; где группу кудрявых дубков с вьющимися над ними галками и отдыхающим в стороне стадом; где гладь, бескрайнюю, необозримую гладь полей, и посреди ее, на каком-нибудь перекрестке, одинокий крест или часовню; где ложину, покрытую частым орешником и перерезанную ручьем, который пересох в песчаном дне, усеянном угловатыми камнями. Вы спускаетесь на мост, который, едва прикоснулись к нему копыта лошади, весь как будто переполнился страхом; дрожит он всеми своими суставчиками; дрожит, опасаясь, вероятно, за свое собственное существование столько же, сколько за жизнь смельчаков, которые так беззаботно вверяют ему свои кости. С диким криком и врезгом поднялась стая чибезов, испуганных шумом... И вот снова поднялись вы по кособоку, снова на проселке, и снова пошли направо и налево новые виды: где клин соснового бора, который глянул для того, кажется, чтобы тотчас же скрыться; где снова зеленеющие пажити, с движущимися тенями туч и косыми полосами ливня на горизонте; а вот и большое село, с белою церковью на бугре, речкой, отражающей старинный липовый сад, лугами, избами, скворечницами и колодезным журавлем, высоко чернеющим в небе... И как, право, хороши эти виды!

V

А между тем, чем далее подвигался я в глубину полей, тем тишина, меня окружавшая, делалась все торжественнее. Солнце село; вместе с ним угасла, казалось, и самая жизнь: смолкли хоры, смолкла гармоническая музыка, наполнявшая весь день и воздух, и землю. Темно-синий горизонт разлился по небу, и загорелись звезды...

На другой день, вечером, я приближался к цели моей поездки. Беззаботное, счастливое настроение духа, которое не оставляло меня во всю дорогу, стало изменять мне; сам не знаю отчего, но кровь волновалась сильно, я начинал чувствовать то внутреннее беспокойство, которое предшествует всякому ожиданию, как радостному, так и печальному. Когда я поднялся на холм, откуда видны были сначала деревня, потом роща, а за нею кровля дома, сердце мое забилося вдруг необыкновенно сильно.

Не верьте, пожалуйста, нашим столичным умникам, которых мы же сами, не находя им другого названия, а может быть, просто, из снисхождения, прозвали людьми с строгим, философским складом ума. Посмеиваясь над самыми простыми, естественными и, уж конечно, лучшими нашими чувствами, называя их действием воображения или слезливо-сентиментальными выходками, они, я уверен, слову не верят из того, что проповедуют: они только рисуются перед нами. Ведь только глупцы могут потешаться над тем, чего не знают или чего сами сознательно не переживали. Философия наших знакомых – больше ничего, как фразы, сухое и очень дешево доставшееся резонерство. Истинная философия состоит в убеждении, что лишнее умничанье ни к чему не ведт. Счастье заключается в простой жизни; просто живут те только, которые следуют своим побуждениям и доверчиво, откровенно отдаются движениям своего сердца. Дайте любому философу живописный участок земли, дом – какой-нибудь уютный, теплый уголок, скрытый, как гнездо, в зеленой чаще сада; пускай вместе с этим домом соединятся воспоминания счастливо проведенного детства, – и тогда, поверьте, подъезжая к нему после долгой разлуки, он искренно сознается, что вся философия его – вздор и гроша не стоит!

VI

С каждым поворотом колеса я приподымался и нетерпеливо вытягивал шею. Глаза с жадностью перебегали от ряда знакомых ветел к крыше дома, которая начинала выглядывать из-за угла старого сада. Я уже мысленно ступал по тропинке, протоптанной через двор, она вела к липовой аллее, свидетельнице моих детских игр, первых моих слез и первых радостей. Существуют ли еще качели, привешенные к шесту между двумя старыми деревьями?... Что случилось с моим садиком, который занимал всего аршин, но казался мне тогда великолепным парком?... Все ли еще существует и белеет на своем месте, за ветхою стеною амбара, каменная плитка, над которой, обливаясь когда-то слезами, хоронил я умершего воробья... Я превращался в ребенка; я волновался и радовался, как будто меня ждала там и простирала ко мне руки вся минувшая моя юность; как будто ждало меня там бог весть какое счастье!...

VII

А счастья, право, никакого не было! Дом мой опустел давным-давно, никто не махал мне издали платком; никто не бежал к околице; никто меня не встретил. Самый дом глядел угрюмо, неприветливо своими серыми бревенчатыми стенами, наглухо заколоченными ставнями, заброшенным палисадником и полюбившимся плетнем, из которого половина кольев была вынута.

– И все-таки – не странно ли это? – в душе моей ни тени тоскливого чувства! Кроме сладких воспоминаний детства, в сердце постепенно рождалось еще другое ощущение... сказать ли вам? я радовался тому именно, тому радовался, что никто не встретил меня, никто в эту минуту обо мне не думал и не заботился!... Я вошел в этот опустелый дом с тем же радостным биением сердца, с каким подъезжал к нему. Не вините меня в мизантропии или вообще в расположении к мрачному одиночеству. Не нужно быть вовсе мизантропом, чтоб чувствовать иногда сильнейшую потребность умственного, душевного спокойствия. Я просто утомился городом и искал тишины.

VIII

Мне случалось встречать людей, горячо привязанных к семейству. Вдруг, посреди самой счастливой обстановки, сами сначала не сознавая этого, начинали они предаваться неслыханной тоске. И в мыслях, и на языке была одна только мысль: уехать, исчезнуть куда-нибудь, где бы ничто не напоминало прерванных на время связей; и все это без малейшего повода со стороны семейства или внешних каких-нибудь обстоятельств.

В числе убеждений, вынесенных мною из жизни и внушенных мне опытом, находится, между прочим, следующее: очень часто свет удивляется продолжительности некоторых сердечных связей. Вся тайна заключается в препятствиях, которые ставит этот же самый свет между связанными людьми, и мешает им не только неразрывно делить жизнь, но даже мешает беспрестанно видеться. Уничтожьте препятствия, и тогда, наоборот, все станут удивляться непрочности сердечных привязанностей. Счастье многих и многих семейств поддерживается только временными разлуками. Иное сердце пресыщается скоро, другое медленнее; но все равно испытывают пресыщение. И, наконец, даже и без этого чувства, так уж душа бывает иногда настроена, что полное, глубокое одиночество кажется единственным блаженством существования. В такие минуты самые ласковые речи, самая искренняя, задушевная нежность способны только раздражать нервы.

IX

Дом мой расположен как нельзя удобнее; он отдален от деревни; между ними холм и роща; из деревни не доходит ни одного звука, кроме лая собак и петушиного крика на заре. Самая деревня находится в исключительно благословенном положении: она как бы затеряна в глубине уезда между нескончаемыми полями и рощами.

Первым движением моим, Как только я вошел в комнату, было отворить окно всад. Ночь сменила сумерки Высокие липы обступали сад; кусты, разбросанные в беспорядке и успевшие уже в эти два дня опуститься велению, сливались местами в одну совершенно темную массу и неопределенно круглились между дорожками, которые слегка серебрила роса. Слева только, между черными, как уголь, стволами, светлела часть пруда; в ней, как в чистом зеркале, незыблемо отражались синее небо и робко мерцающие звезды. Струи воздуха, пробежавшие перед закатом, не трогали теперь ни одной веткой. Запах вечерней росистой мглы, смешанный с запахом почек, молодых отпрысков, и запахом прошлогоднего листа, проникал, казалось, каждый атом воздуха и медленно курился над садом. Самое полное, самое невозмутимое безмолвие распространялось не только вокруг, но даже далеко по всей окрестности.

Я опустил на окно, отдаваясь весь новому сладчайшему впечатлению. Слух мой, освобожденный от трескотни города, получил страшную чуткость; но тишина окрестности ничем не нарушалась. Изредка чиликнет внезапно пробудившаяся птичка, прожужжит запоздавший жук, стучаясь рогатой головкой о сучья, или послышится треск молодой ветки, которая распахнулась от избытка свежего сока, и снова воцаряется молчание...

Влияние тишины, царствующей над полями, вполне может быть доступно тем только, кто долго тяготился треволнениями житейского моря, чей слух и чьи нервы многие годы постепенно тяготились и раздражались безумной суматохой города. Я чувствовал, как тишина вливалась в душу, и как делалось в ней и покойнее, и светлее.

Х

Каждый день, прожитой здесь, приводит меня к убеждению, что сельская жизнь улучшает человеческую природу. Не считая того, что она ставит в необходимость жить больше с самим собою, представляет мало развлечений и тем самым сосредоточивает мысли и делает их яснее, одно из главных преимуществ ее заключается в том, что она значительно умиряет нашу гордость. Влияние ее в этом случае совершенно противоположно влиянию города.

Там все заставляет нас много о себе думать: стесненные в домах и улицах, которые кажутся широкими только сравнительно, встречая на каждом шагу тысячи предметов, изобретенных человеком, мы невольно начинаем считать себя чем-то особенно важным. Все подтверждает уверенность в наше могущество, силу и способности. Здесь впечатления совсем другого рода: здесь уже давит нас один этот простор, которым окружены мы с утра и до вечера. На улицах, между домами, точно делаешься заметным; здесь – превращаешься почти в ничто, в едва видную точку. Ваша власть уничтожается, как ваши размеры: здесь все растет, создается, разрушается и движется, не обращая на вас ни малейшего внимания, не спрашивая ни вашего совета, ни вашего разрешения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.